

эта манифестация явно доказывает, что дело противников графа Толстого окончательно проиграно. Все другие газеты, конечно, весьма осторожно и полусловами решились, однако, выразить сомнение в искренности подобных манифестаций. Нельзя, кажется, представить более сильного свидетельства слабости общественного мнения в противодействии лицам, власть имущим. Нет ни малейшего сомнения, что в настоящее время, справедливо или нет — это другой вопрос, но не подлежит сомнению, что в настоящее время граф Толстой как министр народного просвещения и как прокурор Синода¹¹² не только не популярен, но на нем, можно сказать, сосредоточивается ненависть всех слоев общества. Вышедшая недавно из-за границы брошюра князя Васильчикова «Письмо к графу Толстому», в которой, в сущности, говорится то же, что и в моем мнении, и которая с жадностью и с сочувствием читается в России, также немало способствовала к оправданию неприязненного к графу Толстому чувства. И в это время этот господин разезжает по России, ему дают обеды и говорят восторженные речи, и не только никто не протестует против этого ни словом, ни делом, но даже периодическая печать почти безмолвствует. Я сказал на днях министру юстиции графу Палену, что, по моему мнению, у нас является новый вид преступления, который бы должен подлежать преследованию прокурорской власти. Это преступление — есть публичная подлость. Ежели публичный разврат может подлежать преследованию, хотя никому нельзя под страхом уголовного закона воспретить быть развратным человеком, лишь бы он не оскорблял чувства приличия, так точно публичная подлость, оскорбляя нравственное чувство общества, действует возмутительно и не должна быть терпима.

1876 год

4-го января. Новый год я встретил под впечатлением неожиданного сюрприза. Я получил орден Св. Александра Невского. Это первая награда, о которой я не знал заранее и которую не ожидал, во-первых, потому, что для членов Государственного совета нет срока для получения очередных наград, ибо они назначаются по инициативе самого государя, и, во-вторых, главное — потому, что я думал, что гнев государя по моему мнению на отчет графа Толстого выразится в более продолжительном обходе меня всякими наградами. Чтобы не дать повода предполагать с моей стороны какого-либо искательства или желания оправдаться, я нарочно избегал случая представляться государю и даже попадаться ему на глаза. По собранным мною сведениям, оказалось, что никто за меня не ходатайствовал и что я получил награду по собственному соизволению. 1-го числа я поехал во дворец к обедне и после обедни благодарил на общем представлении. Государь не сказал мне ни слова, а только подал руку. Все это весьма соответствует характеру Александра Николаевича — весьма вероятно, что я теперь не получил бы награду, ежели бы ей не предшествовало выражение неудовольствия. Вместе со мной получил Александра Невского и Головин, это даже довольно замечательно, потому что мне достоверно известно, что Толстой

уверял государя, будто бы я писал и подал свое мнение под влиянием Головина, тогда как в действительности из всех лиц, которым я читал свое мнение, только один Головин отговаривал меня подавать его, хотя и был согласен с его содержанием. Замечательных новостей нет. Суворов¹¹³ праздновал свой пятидесятилетний юбилей и по этому случаю получил портреты при великолепном рескрипте, но все это не поможет ему в действительности заслужить ту популярность, о которой он так хлопочет. Добрый по сердцу человек, но пустой, бестолковый болтун и в искусственной простоте своей не без хитрости царедворец. Его очень верно очертил покойный Ф. И. Тютчев следующим четверостишием:

Два разнородные стремления,
В себе соединяешь ты,
Юродство — без душеспасения
И шутовство — без остроты...

Засим Новый год ознаменовался кончиной двух сановников: графа Модеста Андреевича Корфа и управляющего Морским министерством Николая Карловича Краббе. Обе личности, в разных родах, довольно замечательные.

О первом, т. е. графе Корфе, мне, кажется, уже доводилось говорить мое мнение в записках. Прилагая за мерило для оценки государственных людей только положительные результаты их деятельности, я кладу в актив графа Корфа только одно дело — это устройство Императорской Публичной библиотеки. Вся его остальная деятельность сводится на нет. Он принадлежал к школе государственных грамотных деятелей прошедшего царствования. Эта школа выработала так называемую официальную редакцию, заменившую ясный и точный слог правительственных актов гладким, бесстрастным и лишенным содержания словотечением. Это искусство редакции, впрочем, не было случайным явлением. Оно было естественным последствием отсутствия содержания, бесстрастности и вицемундирной выправки, составлявших отличительную черту деятельности высших правительственных сфер в последней половине царствования Николая I. Граф Блудов, Бутаков, барон Корф, Суковкин были представителями этой школы. Все внимание обращалось на редакцию, чтобы она была г л а д к а и к р а с н а (это технические выражения). Сущность дела оставлялась совершенно без внимания. Когда я был назначен директором Комиссариатского департамента Морского министерства, то застал одного вице-директора, который занимался исключительно переправкою редакции не только всех исходящих бумаг, но также и докладов. При вступлении в должность директора Таможенного департамента я нашел еще более любопытный факт. Департамент платил особое жалование академику Некитаеву за исправление редакции разных бумаг. Стоит только сравнить язык двух манифестов, указов и рескриптов времен Екатерины с подобными же актами второй половины царствования Николая I, чтобы увидеть и понять всю разницу. Текст законов, в особенности под пером Блудова и Корфа, утратил совершенно ясность, определительность и краткость. Помню, как много мне перепортил крови Корф, когда начал исправлять редак-

цию статей Устава о печати, выработанного в комиссии под моим председательством¹¹⁴. Как я ни бился ему доказывать, что его редакция изменяет смысл самого закона, что суду будет трудно руководствоваться текстом туманным и неопределенным, ничто не могло поколебать его желания огладить редакцию. Могу также сослаться на текст статей закона о печати в первоначальной их редакции и сравнить их с текстом статей, вышедших из Государственного совета¹¹⁵.

Про Корфа обыкновенно говорили, что он отлично владеет пером. Справедливее было бы сказать, что перо им владело. Никакой своей мысли он не выразил этим пером, а перо в руках его получало силу нанизывать фразы закругленные, гладкие, приличные и скромно бесцветные. В рескрипте при пожаловании его в графы упомянуто в числе достоинств, что он умел с большой находчивостью приводить к соглашению различные мнения в Государственном совете. Это действительно отличительная черта деятелей, подобных Корфу. Им легко дается эта способность соглашать различные мнения, потому что ни одним мнением они не дорожат, совершенно безучастно относятся к вопросу, как бы он ни был решен. При этом, изучив характер лиц, с которыми имеют дело, чуя инстинктом, куда дует ветер, они без труда и без всякого насилия своим убеждениям направляют дела. К несчастью, успех людей, подвигающихся в этом смысле, заразителен и характер индифферентизма к общественному делу сделался у нас в высших сферах преобладающим, он в корень развратил многих способных деятелей. Корф постоянно был кандидатом во всевозможные министерства. В конце царствования Николая и при начале царствования Александра при всякой вакансии¹¹⁶ какого-либо министра его называли преемником.

Однажды, в 60-х годах, когда я был в ходу и в числе кандидатов на пост министра юстиции в общественном мнении, подходит ко мне на балу у княгини Юсуповой Корф и поздравляет меня. «С чем?» — спрашиваю я. «Да как же, ведь Вы назначены министром юстиции», — отвечает он. «Нет, Вы ошибаетесь, я еще пока поступил на Ваше место», — говорю я. «Как это?» — удивляется он. «Да так, — отвечаю, — ведь Вы 20 лет стоите кандидатом в министры, ну а теперь я занял ваше место». Эта шутка, впрочем, его не рассердила, ибо вскоре после действительно ему открылась возможность быть почти министром. Ему поручено было государем образовать на новых началах Главное управление по делам печати (это происходило еще прежде новых законов о печати, когда еще существовала цензура при Министерстве народного просвещения). Это Главное управление должно было составлять особое ведомство с личными докладами государю и со всеми атрибутами министерства. На другой же день Корф явился ко мне и предложил мне место члена в этом управлении. Удивленный этим, я захотел узнать, что именно побудило его обратиться ко мне, а потому завел речь о том, как он думает повести дело, мне хотелось понять хотя бы только его общую мысль о предстоящей деятельности. Но на все мои вопросы <я> получал столь уклончивые и неопределенные ответы, что во мне не осталось ни малейшего сомнения в том, что он сам еще и не думал об этом предмете. Ему только ясно представлялась вся внешняя обстановка этого министерства, с департаментами, курьерами и проч., и эту сторону устройства он мне объяснил в мельчайших подробностях. Тут же мне объявил, что он предложил

другое место Соболевскому, которому уже написал в Москву. Соболевский — известный остряк, друг Пушкина, поэт, хотя не печатавший своих сочинений, бесспорно, ученый и образованный человек, большой библиофил и библиоман, никогда или давно нигде не служивший — выражал собою направление, совершенно не сходное с направлением правительственным. Все это мне показалось как-то странно и каким-то расчетом на эффект, без серьезной мысли. Я не дал никакого ответа Корфу и просил времени, чтобы обдумать его предложение. Я действительно два дня обдумывал его, собирал разные сведения и пришел к Корфу, чтобы еще раз с ним переговорить. Я начал речь свою с того, что выразил ему убеждение, что дело, в котором нам придется идти с ним рука об руку, не есть просто служебное дело, где обязанности лиц могут быть точно определены, что мы должны будем орудовать в области мысли, нравственности и убеждений и что поэтому мне бы хотелось знать, будет ли мой взгляд на дело достаточно близок к его взгляду и возможно ли какое-либо единомыслие. При этом я сказал ему в главных чертах, что я думаю о современном состоянии печати, какому направлению я сочувствую, какому — нет. Корф слушал меня с полным равнодушием, и не потому, что не хотел высказываться, а просто потому, что он об этих предметах не думал. Он весь был погружен в обдумывание нынешнего устройства министерства и, между прочим, тут же заявил мне, что прежде всего нужно непременно купить особый дом и что он уже приискал таковой у Фонтанки около Аничкова моста, и засим пустился в такие подробности относительно различных личных отношений, что окончательно убедил меня, что с этим господином дела иметь не следует. Я объявил ему, что не могу дать ответа без согласия великого князя Константина Николаевича, под начальством которого я тогда служил, и потому попросил отсрочки до следующего дня.

На другой день я объяснил все великому князю и, не видя в нем также большого доверия к Корфу, я просил у великого князя позволения сослаться в моем отказе на него, представя Корфу нежелание великого князя, чтобы я оставил службу в Морском министерстве, и невозможность соединить службу в двух министерствах. Так я и сделал. Вскоре затем <об>рушилось и самое образование особого управления. Корф так лебезил и так суетился о покупке дома, что возбудил против себя всех, вышла какая-то глупая история из-за этого дома, которая кончилась тем, что государь отменил свое повеление, хотя уже объявленное указом, и Корф опять остался ни при чем. Мне известно, что он пишет свои записки. Любопытно, как он расскажет этот эпизод для потомства. Впоследствии мне было поручено составить новый устав о книгопечатании, и, по моей мысли, эта часть передана в Министерство внутренних дел, при котором учреждено особое управление по делам книгопечатания. История хода работ в двух комиссиях под моим председательством и рассмотрения самого проекта в Государственном совете, наполненная необходимыми подробностями, изложена мною особо. Корф в Государственном совете председательствовал в Соединенном департаменте при рассмотрении проекта моего устава и много вредил несерьезностью своих возражений на редакцию. После того я никаких, особенно личных, отношений не имел с Корфом. Вскоре по вступлении моем в Министерство государственных имуществ и потом

членом Государственного совета он заболел, оставил председательство в Департаменте законов и редко ездил в Совет.

Только два года назад я должен был возобновить с ним сношения, и на этот раз по делу, слишком близкому моему сердцу. Сын Корфа, Модест Модестович, влюбился в дочь мою Варвару и, в отсутствие отца, явился ко мне с предложением и просил руки Вавочки. При этом он объявил мне, что родитель его отговаривал вступать в брак с девицей без состояния и что у него также состояния нет, что он не может иметь более 4-х тысяч дохода.

Молодой человек — во всех отношениях очень порядочный, и хотя Вавочка не чувствовала к нему никакого особого расположения, но тем не менее я бы с охотою согласился бы на предложение, ежели бы в будущем молодой Корф мог бы представить какую-либо надежду на улучшение своего положения службою или другими занятиями. Но, к сожалению, молодой человек не одарен особыми способностями и сам не надеется сделать никакой другой карьеры, кроме придворной. Для этой карьеры должны быть средства, которых я дочери дать не смогу, к тому же, зная хорошо Вавочку, я не надеялся, чтобы в придворной карьере своего мужа она могла бы найти счастье. С мужем небогатым она могла бы быть счастлива, ежели бы муж этот был бы годен на какое-нибудь дело, и она могла бы быть ему хорошей помощницей. При таких обстоятельствах я, не дав решительного отказа, написал молодому Корфу письмо, которое бы он мог показать своим родителям, в котором я высказывал откровенно, что решение мое будет зависеть от согласия и отзыва его родителей. Засим, по возвращении графа Корфа в Петербург, я имел со стариком объяснение, из которого я ясно видел, что он, не надеясь на способности своего сына, возлагает надежду на богатую невесту и придворную службу. Так дело у нас и разошлось. Признаюсь, с моей стороны без особого сожаления, хотя молодой человек и имеет много хороших достоинств. Теперь он вдался, под влиянием лорда Редстока¹¹⁷, в пиетизм¹¹⁸ и удаляется от света. Не знаю, как подействует на него кончина отца, которому он был очень предан. Не знаю также, оставил ли покойный какое-либо состояние.

Другой окончивший свое земное поприще сановник — морской министр адмирал Краббе — близко был мне знаком, мы вместе служили в Морском министерстве. Я был уже директором департамента, когда он поступил в министерство, состоя прежде при князе Меншикове одним из любимых адъютантов. Он сделан был вице-директором Инспекторского департамента и потом, вскоре, выжил графа Гейдена, который был директором Инспекторского департамента, и сел на его место. Засим через несколько лет, когда адмирал Матюшкин управлял министерством, он и его мастерски спустил с помощью Грейга, управляющего тогда канцелярией, и сделан был тогда управляющим Морским министерством. Тут он скоро-скоро пошел в гору, получил чины, ордена и всякие отличия, был очень любим государем и великим князем. Последние два года постоянно болел, но оставался министром и умер, оставив память, в сущности, по сердцу, сердечного человека. Отличительная черта его, которой он главным образом обязан своему успеху и возвышению, — балагурство. Этим он угождал князю Меншикову и этим также успел он и впоследствии поставить себя в ин-

тимные отношения и к великому князю, и к государю. Специальность его состояла в собрании коллекций всяких неприличных вещей, рисунков и книг. Говорил он постоянно шутками и циническими выражениями, называя этот язык «языком будущности». В Государственном совете он, разумеется, никогда не говорил, но и не имел малейшей претензии на государственного человека, а сознавал и не скрывал от других своей ловкости, шуточками и балагурством обдeldывая разного рода дела и делишки. Хотя он никогда ничем во флоте не командовал, но его во флоте любили за доброе сердце и простоту. Я недолго служил во время управления им министерством, а потому не могу судить верно о том, показал ли он впоследствии какие-либо административные способности. При мне он только начинал и не проявлял еще никаких даже претензий на серьезное управление. Не думаю, чтобы и впоследствии он сам что-нибудь сделал дельное, но полагаю, что он не мешал людям дельным делать дело. Хотя Краббе носил немецкую фамилию, но имел много сторон с чисто русским отпечатком: юмор и балагурство его близко подходило к тону русского балагура, который себе на уме. Он был большой охотник до русской музыки и до всякой охоты. Он искал и достиг власти, чтобы жить в свое удовольствие, и в этом отношении достиг своей цели, устроив свою жизнь комфортабельно. Отделал себе великолепную квартиру в Адмиралтействе, но, к несчастью, не смог долго ею пользоваться, ибо мучительная болезнь приковала его к постели. В сущности, он вреда не сделал, ежели не считать вредом эксплуатацию человеческих слабостей в лицах, власть имущих. Помню, однажды в Государственном совете, после заседания, в котором выражали разные мнения о законе, предложенном графом Шуваловым о печати, и по которому было предварительное суждение в Совете у государя, где я и присутствовал, управляя тогда министерством¹¹⁹, великий князь собрал в своем кабинете всех министров, чтобы условиться в одинаковом понимании воли государя по этому вопросу. Тут возникли сильные споры о смысле того заключения, которое министры, по воле государя, должны были поддержать в Совете. Великий князь доказывал, что государю угодно было, чтобы вопросы об уничтожении вредных книг рассматривались в Комитете министров по существу, а граф Шувалов доказывал, что государю угодно было только, чтобы об этих книгах доводилось до его сведения через Комитет министров. Государь был в отсутствии, и нельзя было обратиться к нему для разрешения недоумения. Так как самая мера эта казалась многим, а в том числе и мне, противною, и так как обставлена она была графом Шуваловым самым недобросовестным образом, то суждения были весьма странные. Совещание происходило стоя, ибо не имело характера формального совещания. Я стоял, слушал и молчал. Вдруг Краббе дернул меня за полу платья и на ухо прошипел: «Пожалуйста, молчите». — «Да я молчу», — отвечал я. «На роже все видно», — прошипел опять мне на ухо Краббе. Я невольно засмеялся и подивился его сметливости и тонкому званию министерской тактики.

Наконец вышла в свет книга, над приготовлением к изданию которой я долго трудился. Я дал заглавие, соответствующее содержанию: «Хроника недавней старины». Издание вышло изящное, и я надеюсь, будет иметь успех и принесет пользу. В предисловии я высказал мысли свои по поводу этого издания. Здесь же

скажу, что я душевно радуюсь, что удалось почтить память дедушки, бабушки и матушки. Привлекательные личности их несомненно возбуждают к себе сочувствие читателей. Мне случилось в прошедшем году читать отрывки из «Хроники» у императрицы. На это потребовалось два вечера, и на всех присутствующих чтение мое произвело самое приятное впечатление. Императрица очень интересуется этим изданием и просила меня непременно дать ей книгу, когда она выйдет. Любопытно будет, как отзовется общество и журналистика на мое издание. Я соберу особо все письма и статьи, которые буду получать по этому поводу.

6-го февраля. Сегодня я поднес императрице свое издание, а также представил экземпляр государю. И царь, и царица были очень любезны. Государь оставил книгу у себя на столе и сказал, что непременно будет читать ее на досуге.

На днях я обедал у королевы Вюртембергской Ольги Николаевны, которая приехала сюда по случаю отчаянной болезни великой княгини Марии Николаевны. Тут был государь и императрица, и оба они спрашивали меня, скоро ли выйдет моя книга. Поэтому я и поспешил ее представить, а также королеве и другим лицам императорской фамилии. Вообще отзывы о книге я получаю самые благоприятные.

Болезнь великой княгини Марии Николаевны хотя все усиливается, но нельзя предвидеть конца. Так что в свете опять начались балы и собрания, готовится даже большой бал во дворце.

Кроме нескольких близких великой княгине людей, никто не скорбит о ней. Ничего она путного в жизни своей не сделала и ничего не оставила после себя, чем бы Россия или общество могли бы помянуть ее добром.

Помню, однажды покойная великая княгиня Елена Павловна, говоря со мною о своих предложениях, об устройстве разных будущих благотворительных заведений, ею учрежденных, и о том, что будет с ними после ее смерти, сказала мне, что она старается внушить дочери своей — великой княгине Екатерине Михайловне — *il faut se faire pardonner d'être grande Duchesse de Russie**. До такой высоты сознания своего долга, конечно, могла дойти только такая необыкновенная женщина, какою была покойная Елена Павловна. Но между этой высотой и тем ничтожеством, в котором пребывают Мария Николаевна, Александра Иосифовна, Мария Павловна и проч. ... есть еще и обширная середина. Одна великая княгиня Александра Петровна отличается действительно необыкновенными качествами души и рвением на пользу общественную и делает это тихо, умно и последовательно.

19-го марта. Сегодня я вернулся из Москвы, куда ездил на несколько дней с великим князем Константином Николаевичем, по его приглашению, для присутствия при сценических упражнениях воспитанников и воспитанниц Московской консерватории. Давали «Фрейница», и очень удачно. Перед отъездом было у меня сильное объяснение с великим князем, который в пику за то,

* надобно приучить себя к тому, чтобы чувствовать свою вину уже за одно только свое положение великой княгини.

что с него берут в Кремлевском дворе деньги за содержание, хотел непременно остановиться в Москве в гостинице «Славянский базар». Уже все распоряжения к тому были сделаны. Я доказывал ему все неприличие подобного поступка, но он не соглашался, и тогда я объявил ему, что не поеду в Москву, чтобы не быть участником такого неприличного действия, от которого я должен был его отговорить. Хотя он мне объявил, что не изменит своего намерения, однако накануне отъезда своего изменил и остановился в Кремле.

31-го марта. Ужасная весть о кончине Юрия Самарина в Берлине дошла до меня из Москвы по телеграфу от Маши Саллогуб. Перед тем я получил телеграмму от Дмитрия Самарина, который проездом в Берлин, по первому известию о болезни брата, звал меня на свидание на Варшавскую <железную> дорогу. Там я его не нашел и, воротясь домой, узнал уже, что все кончено. Нет человека, которого я любил, кажется, более всех на свете, который более всех имел на меня влияния и которому более всех я обязан своими нравственными и гражданскими качествами, ежели таковые во мне есть. Чем был Самарин для меня, об этом напишу со временем, но теперь постараюсь собрать все, что будет о нем говориться и печататься. Скорбь от утраты Самарина — общая...

Статей из попадающихся мне под руку газет достаточно, чтобы видеть, какое общественное значение получила смерть Самарина. Ничего подобного я не видел. Я тем более поражен этим явлением, что мне казалось, что ценность достоинства, способность и высоконравственный его характер могли ценить только люди, близко его знавшие. Между тем и здесь, и на похоронах в Москве проливали по нем неподдельные, искренние слезы лица, никогда его не знавшие и даже никогда не видевшие. Самарина оценят еще более, когда будет обнародована его многотомная переписка с разными лицами. Я, со своей стороны, передал братьям Самариным все письма его ко мне, из них некоторые весьма замечательные. У меня также сохранилось в копии письмо его к государю после издания «Окраин». Все это со временем будет напечатано. Тогда увидят, какой Самарин был глубокий мыслитель, честный, верующий христианин и русский человек. Я не знал человека умнее и талантливее его. С первой молодости был с ним в самых близких и дружественных отношениях, он был для меня почти по всем вопросам политических и религиозных убеждений верным камертоном, по которому мне не раз случалось проверять собственные свои впечатления и убеждения. Корреспонденция его более, нежели изданные его сочинения, объяснит тайну его влияния на людей, с которыми он имел дело. Господствующая мысль и дух реформы крестьянской принадлежат ему, и хотя имя его ставится наряду с именами Милютина и Черкасского, но без него, по сознанию самого Милютина, характер реформы был бы совершенно иной, ибо направление Милютина до знакомства его с Самариным было столь узко-демократическое и исключительно западноевропейское, что реформа без участия Самарина лишена была бы тех твердых основ, которые составляют ее достоинства.

Из переписки Самарина увидят, почему он не служил и почему он действительно был негоден для административной деятельности. Но что правительство не дорожило человеком, столь талантливым и способным, и не умело из-

влечь из него пользу — это останется навсегда делом постыдным. Ввиду общего выражения сочувствия к памяти замечательного общественного деятеля, правительство не только не нашло приличным, со своей стороны, каким-либо, хотя самым скромным, способом выразить скорбь свою, а напротив, замеченное всеми отсутствие на похоронах в Москве генерал-губернатора получило значение манифестации, противной общему настроению. Это, впрочем, общий прием наших представителей власти. Они не только не ищут случая сойтись с обществом в одном чувстве негодования, или радости, или печали и тем заявить хотя чем-либо свою нравственную связь, а, напротив, нарочно как бы избегают случая показать возможность этой связи и считают как бы несогласным со своим достоинством и унижительным увлекаться общим настроением. К тому же в настоящем случае надо было забыть те частные неудовольствия и неприятности, которые наносил Самарин своим резким пером и цельностью своих убеждений, а на подобную жертву не могло, конечно, хватить духа. Рядом с этим весьма замечателен следующий факт: преосвященный Викторин, никогда не выдавший Самарина, 5-го апреля, после благодарственного молебна за спасение жизни государя в Витебском соборе¹²⁰, остановившись на амвоне, обратился к пастве со следующей речью:

«Христос воскрес. Чем занять мне ваше внимание ныне, благочестивые слушатели? Конечно, не воспоминанием о несчастном изверге, покусившемся на бесценную жизнь возлюбленного нашего монарха. Нет, лучше я вас ознакомлю с личностью светлую, привлекательную, о которой так хотелось бы, чтобы знал ее и никогда не забывал русский человек, каждый преданный сын родной нашей земли.

Кто из образованных людей не слышал имени Ю. Ф. Самарина? Потомок древнего русского боярского рода, муж высокообразованный, труженик в деле освобождения крестьян русской земли и Привислинского края, защитник своей родной народности, оберегатель славы и чести русского имени, истинный христианин и преданнейший сын православной церкви... Но его не стало; могила сокрыла уже бранные его останки. Теперь обнаружатся прекрасные качества его души и жизни, восхваляются его заслуги Отечеству. Послушайте, что говорят о нем и служители церкви, и мужи науки, и общественные деятели...»

После сего преосвященный прочитал выдержки из речей о почившем И. Л. Янышева, М. И. Горчакова, князя Васильчикова и почти все слово, кроме приступа и заключения, А. И. Ключарева и, наконец, сказал:

«Зачем, скажет кто-нибудь из вас, повествую вам с церковной кафедры не о жизни которого-нибудь святого, а о жизни смертного, хотя и выходящего из ряда обыкновенных людей?

Затем, скажу вам, что жизнь многих древних угодников Божьих многие считают теперь для себя неудобоподражаемой; а от подражания доблестям современных нам людей мы не должны отказываться; затем еще, чтобы показать вам, как можно совместить в себе знатность происхождения с любовью к простому народу, с высокостью умственного образования, непоколебимую веру в святые истины, с жизнью среди светского общества, преданность свя-

той православной церкви и всем ее установлениям, с богатыми средствами ко всем мирским наслаждениям — жизнь аскетическую, с свободою мышления деятельность, всю посвященную на пользу Отечества.

Да не отговаривается современный наш человек, видя пред собою такой привлекательный образец, чтобы невозможно было и в наши дни, среди многообразных соблазнов и искушений, быть доблестным сыном земли русской, преданным сыном церкви православной.

Приступим же к молитве за возлюбленного государя нашего, пожелаем от всей души, да исчезнут с земли русской все враги его и да порождает она поболее таких деятелей, каков был благочестивый русский боярин, воспоминаемый нами раб Божий Юрий. Аминь».

Что за странный факт. Правительство постоянно держит человека под полицейским надзором, считает его своим врагом, запрещает все сочинения. Ни словом, ни намеком не высказывает сожаления о том, что этого человека не стало, и вдруг архиерей, в полном облачении, в соборе, приглашает свою паству помолиться за возлюбленного государя и пожелать, чтобы у него было поболее таких людей, как этот умерший раб Божий Юрий.

Этот факт, по-моему, в высшей степени замечательный и весьма красноречиво выражающий все противоречие в нашей общественной жизни. Вот что называется: «Своя своих не познаша». И это действительно так. В Москве и в Петербурге вышли к сороковому дню кончины Самарина брошюры, в которых собраны все речи и статьи, сказанные и писанные по случаю этой кончины¹²¹. Я ездил в Москву к сороковому дню, так как к похоронам приехать не мог. В Москве застал все семейство Самариных в сборе. Тетушка переносит свое несчастье необыкновенно спокойно и как будто не сознает всей тяжести понесенной утраты. Мария Федоровна Саллогуб собирает все письма и рукописи покойного для издания. Аксаков собирается писать биографию. Вот что он мне по этому случаю писал:

«Дорогой, старый друг, Митя.

Только что я сел писать тебе, как подали мне письмо твое. В нем каждая строка и каждое слово — как будто выхвачены у меня из-под пера. Нам нечего с тобою толковать о значении нашей потери. Смерть Самарина — это не то что потеря, а целое опустошение, в том смысле, что образуется страшная пустота и в личной нашей, и в общественной жизни, которую ничто и никогда заполнить не может. Это убыль нас самих, и с к а л е ч е н и е . Мы, конечно, ценили его и при жизни, но тем не менее теперь живее чувствуется, как много и чего мы в нем лишились. Блеск его талантов вносил в нашу обиходную жизнь что-то праздничное. Всякое соприкосновение с этим необычайным умом доставляло неизменно высокое духовное наслаждение, которым мы привыкли пользоваться как даровым добром, даже несознательно. Присутствие среди нас человека, осененного таким богатством Божиих даров и с таким возвышенным строем души, приподнимало нравственно уровень целой среды; как на поверхности морских глубин играют на солнце волны, струится золотистая зыбь, так в нем под блестящей игрою ума, иронией, забавными шутками и светской внешностью чувствовалась глубина духа, и в этой глубине — основная стихия его духа — стихия трагическая, героическая, аскетическая. Шутя и смеясь, не становясь никогда в позу, не

разыгрывая ни жреца, ни проповедника, он постоянно “священнодействовал” и духом горяще, Господеви работающе, постоянно совершал жертвоприношение.

Да, мой друг, я обратился теперь совсем в могильного сторожа, в кладбищенского надсмотрщика. Каждый ящик моего стола, когда я в нем роюсь, как могила, в которой я роюсь. Без всякого сомнения, я обязан и подчиняюсь этой обязанности беспрекословно, хотя и не сознаю в себе для того достаточно умения и сил — воспроизвести, в назидательную память потомству, нравственный образ Самарина, брата Константина и Хомякова. Биография каждого из них истекает из общего источника. Я хочу сказать, что они имеют значение, прежде всего, как трое, и потом как каждый порознь. Это было созвездие, от которого сначала оторвались и угасли 2 звезды, оставалась одна одинокая, и та, наконец, закатилась. “Мы трое жили одною жизнью, — писал Самарин брату, вслед за кончиной Хомякова, — теперь мы остались двое, и только мы можем понять друг друга, когда мы говорим о нем: есть целый мир воспоминаний, которые никогда не отойдут в прошедшее, а вечно будут властвовать в настоящем, — и этот мир доступен только нам одним, он нам завещан”. Вот что писал Самарин моему брату почти накануне смерти брата. И эти воспоминания вечно властвовали в жизни Самарина, они были его святыней, он продолжал жить одной жизнью с обоими друзьями, и мысль о смерти была для него неразлучна с мыслью о воссоединении с ними.

Ты понимаешь, друг Оболенский, что биография Самарина немыслима, по крайней мере с моей точки зрения, вне того, что дало о п р е д е л е н и е и н а п р а в л е н и е всей его жизни, с чем 20 лет жил он, по его словам, одной жизнью. Задача усложняется. К счастью, материалов довольно. У меня сохранились не только письма, но даже записки его к брату, чуть не с первого дня их знакомства. Затем Самарин лично заслуживает целого психологического этюда. Все это я постараюсь исполнить, насколько сумею и не откладывая в долгий ящик, потому что мешкать некогда, без меня никому не справиться с моими материалами, да и ни у кого нет этой руководящей нити воспоминаний. Затем, у Самарина есть целая сторона жизни: внешней, служебной, общественной деятельности, которая подлежит особому, специальному описанию, хотя характер ее внутренний дан ей предшествующим духовным развитием, так сказать, славянофильским. Для этой части биографии у меня мало данных, я уже писал Черкасскому о том, что на нем лежит обязанность написать записки о трудах Самарина в Редакционных комитетах, в польском вопросе, духовенстве, земстве. Публика жаждет, собственно, этой биографии. Я ничего до сих пор нигде не произносил, никакой “речи” о Самарине, и, признаться сказать, охотно бы не произнес никакой, потому что передо мною носится тот его образ, который может воспроизвести только биографический труд и психологический тщательный анализ, а всему этому не место в речи, которая может быть только плачем или похвальным словом. Я понимаю, почему Самарин сам никогда не выступал с надгробной речью или статьей о Хомякове, ни о моем брате. Но, кажется, трудно будет обойтись без чего-нибудь подобного и на скорую руку изготовленного: от меня требуют, чтобы я сказал что-нибудь о нем в Обществе любителей р<усского> слова (в которое Самарин никогда не ездил)¹²². Я бы отказался, тем более что для меня важно именно то, что не мы, а все другие, посторонние, наперерыв спешат выразить свое сочувствие и уважение к Самарину. В его лице, как и ты замечаешь, чувствуется все направление, так называемое славянофильское. Но, с другой стороны, следует поддержать в обществе то благотворное нравственное действие, которое произведено на него кончиною Юрия Федоровича. Он силою своих нравственных достоинств разом приподнял все об-

щество до высокого строя, до единодушного порыва скорби и уважения, он дал ему прожить несколько нравственных, очистительных мгновений. Это явление утешительное, и вызвать его было дано только Юрию Самарину. В этом сказалась его сила, это его последняя служба родной земле.

То же, что происходило в Петербурге, происходило и здесь. Со времени похорон Гоголя не было таких похорон, такой давки в университетской церкви. Все, у кого хоть какая-нибудь душонка есть, все отозвалось на общей горе, без различий партий, лагерей и мнений. Никто не был зван, никто не явился только приличия ради: чувствовалось слияние тысячи сердец в одном чувстве. Но и здесь официальный мир резко выдавался своим отсутствием. Тем хуже для него, но тем лучше для чистоты и цельности общественного чувства. Остроумно заметила одна дама: “Администрация боялась демонстраций, и единственная демонстрация была произведена ею: отсутствием генерал-губернаторов и генералитета в мундирах”. Умилительно было видеть в церкви и на кладбище ветеранов-антагонистов, людей некогда противного лагеря.

Я так пишу, постоянно употребляю выражения: “смерть”, “кончина”, “похороны Самарина” — и чувствую, что все эти выражения употребляются мною как-то отвлеченно, еще не вошедши вполне в сознание, так трудно мирится в мысли и в сердце образ смерти с этой жизненностью воли, силою ума, ярким блеском дарований, с этим металлическим словом, под впечатлением которого остался я при расставании с ним. Но когда сделаю над собой усилие ощутить всю реальность этого события, вместить в себя всю грубость правды смерти, на душе становится так горько, что перо выпадает из рук.

Когда ты приедешь в Москву, захвати с собой все письма Юрия Федоровича. Мне говорил князь Васильчиков, что ты читал ему и другим письмо Самарина Черкасскому по поводу введения Положения о крестьянах в действие. Я помню, он мне сам рассказывал нечто в этом роде. Нельзя ли это письмо прочесть публично в Обществе любителей русского слова: это было бы лучше многих риторических речей. Прощай, любезный друг Оболенский, как обрадуешь ты меня своим приездом. С нетерпением стану тебя ожидать. Крепко и нежно тебя обнимаю.

Твой И. Аксаков.

В какие тусклые, серые будни, обратилась теперь жизнь... Жена тебе дружески жмет руку. Она вчера писала Эдите Федоровне Раден еще до получения твоего письма.

Последнее, что читал Самарин, именно в четверг утром, 18-го марта, было мое письмо к нему, о содержании которого я тебе именно и рассказывал. Я приглашал его вместе со мною издавать критический журнал. За чтением этого письма застал его доктор, и оно найдено на столике совершенно измятое его рукою — левою рукою...

Я читал и собрал все номера газет, в которых напечатаны статьи и речи, произнесенные в Петербурге. Самое лучшее — бесспорно, Градовского, о чем и собираюсь ему написать.

Но все, вместе взятые, представляют из себя замечательнейшее событие нашей истории — высокого нравственного характера, венчающее нравственный подвиг жизни и общественное служение Юрия Самарина.

Ох, как тяжело и грустно, друг Митя...».

5-го мая. Господь послал мне великое утешение... Сегодня мы помолвили Вавочку за Михаила Михайловича Бибикова — молодого человека, во всех отношениях, кажется, достойного и влюбленного в Вавочку уже более года.

Как справедливо говорит пословица: «Суженого конем не объедешь». Так и эта свадьба решилась довольно неожиданно, сопровождалась разными эпизодами, расстроившими нервы жены. Но я вполне надеюсь на милость Божью, и он благословит этот брак, пошлет мне утешение видеть счастье дочери, которую люблю от всего сердца. Свадьба, вероятно, будет не прежде конца июня или первых чисел июля.

20-го июня. Роковой восточный вопрос опять поставлен Провидением и грозит всей Европе, и нам в особенности, страшными бедствиями. Опять застанет он нас врасплох. Опять не готовы мы к войне для поддержания единоверных нам славян, но, что всего хуже, мы теперь менее, чем прежде, способны дать политике нашей какой-нибудь ясный, определенный характер, заявить какую-нибудь мысль и, хотя бы нравственной силой твердого убеждения, завоевать себе право на внимание Европы к руководящим нами началам. С самого начала уцепившись за сочиненные австрийцами несбыточные предложения об умиротворении турецких славян посредством обещания реформ, мы сдерживали всеми средствами восстание в Герцеговине, не давали ему распространиться, хотя простой здравый смысл убеждал в невозможности осуществления реформ, которыми потчевали вышедших из терпения славян.

Теперь несостоятельность этой политики обнаружилась: война сербов и черногорцев с турками уже началась, и что будет дальше — одному Богу известно ... Я не верю в окончательное торжество нашей политики, даже в том случае, ежели бы славяне одержали окончательную и решительную победу над турками, и это потому, что не верю в торжество лицемерия. Политика отвлеченных принципов и неискренность убеждений не может окончательно торжествовать. В ней нет силы п р а в д ы . Мы поддерживаем единоверных и единоплеменных нам братий и в силу этого нравственного и духовного родства предъявляем свои права на защиту их. Но сами мы, т. е. все те, которые руководят политикой, настолько ли уважаем и любим свою веру, что можем одушевлять требования наши силою искренних убеждений? Но сами мы настолько ли любим собственное свое племя, чтобы искренно сочувствовать своим единоплеменным? Не чуждаемся ли мы, напротив, сами своей народности? Не презираем ли мы ее? Не милее ли нам всякий немец, особенно пруссак, француз или англичанин? Так ли мы относимся к славянскому племени, как немцы к германскому, итальянцы к итальянскому? Насколько ли Горчаков — русский, насколько Бисмарк — немец; и так, восходя выше и выше на всех ступенях нашей правительственной иерархии, можно задавать себе подобный вопрос и, к сожалению, отвечать отрицательно. Покойный государь Николай Павлович не только природой своей и вкусами был более русским человеком, чем настоящий государь, но, кроме того, он искренно верил в свое призвание быть покровителем православных и в этом смысле смотрел на свою политическую деятельность как бы на некое священнодействие. Теперь ничего этого нет. Преобладающая во всем и во всех усталость, равнодушие, желание мира и покоя, опасение компрометировать свое прошедшее дает, несомненно, характер всем нашим словам и действиям. *Après vous*

le deluge* — вот внутреннее чувство всех наших главных политиков. К тому же сам вопрос весьма труден, и для изыскания способов для разрешения его нужны не рядовые способности, а таковых в наличии не имеется. Очень тяжелые времена опять наступают для России. На днях ждут возвращения государя из-за границы, где неудавшаяся конференция и неудавшееся лечение, вероятно, еще более ослабили его организм.

1-го июля. Сегодня я имел продолжительный разговор с канцлером — князем Горчаковым. Он вернулся вместе с государем и не пользуется своим обычным летним отдохновением в Швейцарии. Политические замешательства слишком важны, и мы, к сожалению, в них до сих пор не имеем блестящего положения. Из всех слов Горчакова я вынес то убеждение, что восточный вопрос нимало не продвинулся к своему разрешению. Военные действия в Сербии и Черногории остановили политическую болтовню, но она скоро опять начинается, и с той же неопределенной с нашей стороны программой, с какой началась. Я предлагал устроить совершенно тайную денежную передачу пособия Сербии без официального или неофициального вмешательства правительства, о чем настоятельно ходатайствует сербское правительство через своего уполномоченного — Протича, рекомендованного мне Аксаковым. Но, кажется, дело это не состоится, и не только потому, что финансовый наш кризис сейчас в полном разгаре, но главное потому, что боятся протеста Англии, которая, в свою очередь, не имеет подобных опасений и оказывает несомненную помощь туркам. Та главная причина шаткости нашей политики, о которой я писал выше сего, — более, чем когда-либо, лежит в основе всех наших неудач. В разговоре, между прочим, мы вспоминали о Самарине, и князь Горчаков спросил меня, знаю ли я, что родство мое с Самариным и дружба с ним лишили меня министерского портфеля¹²³. Я отвечал, что хотя, наверное, не знал, но предполагал всегда, что дружба Самарина была, между прочим, поводом и оружием Шувалову, чтобы заподозрить меня в глазах государя. Горчаков сказал, что он это наверное знает. Меня это несколько не удивляет и ни минуты не заставляет сожалеть о том, что не отказался от сочувствия к человеку, с убеждениями которого я всю душу сроднился, и в потере и в превратном понимании которого вижу большое несчастье для России.

Государь едет завтра на выставку в Финляндию. Все видавшие его единогласно утверждают, что он сильно похудел и болезненный вид его вызывает сожаление. Как-то он перенесет зиму? Горчаков и Адлерберг утверждают, что в Эмсе ему было гораздо хуже, но что он поправился в Югенгейме.

26-го августа. Гроза на Востоке не утихла, а принимает все более и более опасный для Европы, а в особенности для нас, характер. Несчастные сербы и черногорцы, несомненно, будут скоро окончательно подавлены вооруженной силой турок, и действительной помощи <ни> от нас, ни от Европы они для продолжения борьбы не получают. В России все классы общества возбуждены

* После нас хоть потоп

ненавистью к туркам, и пожертвования деньгами и вещами приносятся в огромных размерах. Кроме того, со всех концов России волонтеры разных сословий и званий идут в Сербию и вступают в ряды сербского войска. Уже более 50-ти офицеров русских пало на поле битвы. Народное движение в России быстро распространилось и теперь представляет весьма замечательное и важное по своим последствиям явление. Еще недавно, а именно 20-го июня, писал мне из Москвы Аксаков, между прочим, следующее:

«Вспомни 1853 год, когда собиралась гроза восточной войны: какое движение, какой одушевленный подъем мыслей, стихи, статьи, письма, взаимные посещения, — вспомни, хотя переписку твою именно с братом Константином... А теперь? Не такие же ли, и даже не пущие ли громы собираются на небе? Не восточный ли вопрос поднимается во весь рост? Не грозит ли России худшая опасность? Опасность не войны, хотя бы и губительной, но опасность бесчестия, но измена своим преданиям и своему призванию. И что же?... Тишь да гладь, все мирно, никто не тревожится. Общество молчит, да и общества-то нет. Я, как старый конь, запертый в стойло, только топчу ногами и ржу одиноко...».

Месяц спустя тот же Аксаков в речи к Славянскому комитету говорил следующее:

«Еще ни разу до сих пор не приходилось московскому Славянскому комитету собираться в минуту подобной важности. Никогда не выдвигалось так ярко его значение и его призвание. Все его 19-тилетнее существование было как бы только приготовлением к настоящей поре. Созванный сначала усилиями небольшого кружка людей, осмелившихся считать себя перед лицом славянского мира представителями и носителями, а Комитет — органом истинной русской народной мысли по отношению к славянству, преодолев постепенно не только прогнотействие, но и равнодушие, Комитет возведен теперь ходом событий на степень естественного и законного орудия русского, общественного и, можно сказать, всенародного мнения по славянскому вопросу. Ничего бы так не желали, как того, чтобы факел, некогда зажженный нами, долго еще мерцавший и вспыхивавший теперь ярким пламенем, дождался наконец солнца и потонул в лучах его, по выражению поэта. Не солнце ли уже восходит нам в этом всеобщем пробуждении в народе такого сочувствия к братьям по вере и по крови, такого сознания тесной связи своих исторических судеб с современными событиями на Балканском полуострове, что скоро, кажется, вся Россия превратится, и слава Богу, — в один Славянский комитет, или, другими словами, упразднит прежнее значение комитета как проповедника и органа славянской идеи... Всем сердцем призываем мы это мгновение, но и теперь нашему Славянскому комитету выпала на долю высокая историческая служба — быть преимущественно не столько руководителем, сколько, повторяю, — практическим орудием русского общественного мнения и чувства при настоящих великих событиях. В самом деле, перед нами свершается явление необычайное. В прежние времена, когда так называемый восточный вопрос или то, или другое из угнетенных в Турции славянских племен домогалось свободы, Россия вступала на историческую арену всегда прямою защитницей славянства, но всегда одной своей официальной стороною, т. е. как

государство, посредством дипломатии или вооруженной силы: народ оставался, по-видимому, в стороне: до его слуха и ведения немного доходило о положении и страданиях его братьев славянских. Русское историческое предание со славою блюлось и без его участия. В настоящее время мы видим совершенно иное. События несравненно важнее, именно потому, что наступает роковой час, от которого зависит все будущее России. Но кто же выдвигается главным передовым деятелем, историческим фактором со стороны России? Откуда исходит клик сочувствия к восставшим славянам, вопль негодования к врагам Христа и славянской свободы? Кто ободрил герцеговинцев нравственно и помог их борьбе вещественно? Кто обеспечил семейства доблестных борцов? Русский народ, не только образованные классы, но весь русский народ, с простонародьем включительно. Такое отношение к славянскому делу, такое положение было благодушно представлено русскому обществу самим правительством. В этой помощи восстанию, через призрение страждущих, было бы совершенно несправедливо обвинять русскую официальную власть, и иностранная печать, упрекая русское правительство в тайной поддержке восставших славянских племен, клеветает. Русская дипломатия согласилась подвергнуться нареканию со стороны наших единоплеменников, самого русского общества, подвергнуться даже страшному риску: утратить симпатии славян и лишиться старых надежных союзников на востоке, только бы не подать повода западным державам усомниться в искренности ее миролюбия и бескорыстия и сохранить верность дружеских отношений. Нам недоступны высшие соображения, руководившие действиями нашей дипломатии, но мы не можем не чувствовать искренней признательности к правительству за то, что оно не стесняло общество в выражениях сочувствия, хотя, конечно, без могущественного содействия государства это сочувствие едва ли может само по себе выполнить историческую задачу, указанную России промыслом.

Тем более приобретает значение усилие русского народа помочь христианским племенам в их борьбе с исконным врагом своим, тем сильнее выступает важность общественного русского участия в современных событиях. Русскому обществу приходится поддержать честь и обаяние русского племени, значительно компрометированного и ослабленного в последнюю пору, сохранить единственно надежных нам союзников среди недоброжелательной нам Европы, сохранить верность тому историческому призванию, от которого ищут отклонить нас западноевропейские державы. Русское общество, вполне соболезнуя страданиям болгар, босняков и герцеговинцев, ясно сознает в то же время, что задача вовсе еще не в том, чтобы так или иначе облегчить их участь и обеспечить материальное благоденствие, а в том, чтобы вопрос восточный, или, вернее, славянский, или, еще точнее, — русский, был решен славянами, под водительством России и для славян, т. е. в интересах славян и России, а не в интересах Австро-Венгрии и Англии. Ужасны бедствия, претерпеваемые нашими единоплеменниками в Турции, но еще гораздо горше будет судьба православно-славянского мира, если Россия уклонится от своего долга славянской державы, если ее призвание по отношению к славянам переймут у нее западноевропейские кабинеты, если им, а не России будут обязаны славяне своим освобождением и возрождением. Если, предоставляя России утешаться славою миролюбия и бескорыстия, какая-либо иная чужеземная держава утвердит в той или иной стране свое владычество над проливами — этим ключом русского Черного моря. Я счел нужным очертить политическое положение дела для того, чтобы яснее представить вам, милостивые государи, ту великую историческую повинность, которую приходится теперь нести русскому обществу, великое историческое значение его деятельно-

сти, высокую важность наших трудов как членов Славянского комитета. Что будет — то будет, лишь бы мы сделали все, доступное нашим силам. Благо же всем жертвователям крупным и малым — от богатого, жертвующего 1 тыс. рублей, до деревенской бабы, кладущей на церковное блюдо платок с головы, за неимением денег; благо же в особенности тем доблестным русским людям, которые, в благородном порыве, ежеминутно жертвуют за святое дело славянских племен, за честь русского имени. Русский братский союз со славянами окрещен недавно русской кровью. Общественная панихида по А. Н. Кирееву — члену нашего Комитета — имеет глубокий смысл, ибо сам подвиг его имеет общественное значение. Не по обязанности, не по любви или привычке к военному ремеслу отправился он биться со славянами против турок. Он был один от нас и бился за нас. В нем говорила честь и русская совесть всех нас, всего русского народа, он своей смертью искупил грех, лежащий на Россию благодаря величю европейской дипломатии.

Вы помните, м<илостивые> г<осудари>, что ввиду таких великих событий, ввиду тех усилий, которые требуются от русского общества, и ввиду продолжающейся еще и теперь верности русского правительства его дружеским отношениям к западноевропейским державам, нашему Комитету предстоят большие расходы, для которых нужны большие средства. Благодарение Богу, рука дающего не оскудеет. Напротив того, пожертвования, притихшие было весною, с открытием военных действий со стороны Черногории и Сербии хлынули с необычною силою.

“Несомненно, — писал один из жертвователей, приславших свою помощь Московскому <славянскому> комитету, словами коего я и закончу свою речь, к вам обращенную, несомненно, что Славянский комитет, по мере своих средств, составляемых из частных приношений, питает свое желание и употребляет возможные усилия облегчить ужасные бедствия, тяготевшие над несчастным населением целых славянских областей Турции, но несомненно также и то, что для этого далеко и далеко не достаточно одних частных порывов — благородных, но, как показывает дело, увы... бессильных направить симпатии более значащих сил в народе более деятельной помощи гибнущим несчастным страдальцам. Но уже в высшей степени несомненно и то, что эти приношения отдельных единиц великого народа, притекающие ныне в кассу Комитета и его отделений, как бы они велики ни были, служа громким выражением горячих симпатий великого народа, не выражают даже в слабой степени той безмерной скорби, которая ныне угнетает каждое русское сердце при живом представлении всей незащитности единоплеменников великой и могущественной России, обращающих к ней единой свои молящие о помощи взоры и... тем не менее умирающих страшной смертью, при слишком болезненном для народного чувства сознании бессилия одних частных симпатий — сделать то, что есть совесть России, ее священный долг среди славянства и ее будущее в истории”».

Правительство, ввиду такого настроения общества, видимо, не знает, что ему делать. Сперва оно разрешило находящимся на службе офицерам выходить в отставку и входить в ряды сербской армии. Потом поощряло даже отправку волонтеров, обещая возвратившимся офицерам прежние их чины и места. Потом разрешало всякие сборы в пользу славян и манифестации сочувствия, лишь бы оставаться самому в стороне. Таким образом, общество более и более воодушевляется помимо правительства и начинает чувствовать свою силу. Иностранная пресса обратила на этот подъем общественного мнения внимание, и во-

сточный вопрос в России теперь мало-помалу выхвачен из рук правительства, и положение его сделалось еще более затруднительным, ибо, кроме соображений дипломатических и условий, в которые оно себя поставило конференциями в Берлине и в Рейхстаге, при свидании с австрийским императором, ему приходится теперь еще сообразовываться с общественным мнением в России. А это мнение с каждым днем становится все более и более требовательным, доказательством чему могут служить следующие выписки из газет.

«СПб. ведомости», 28-го августа.

«Вчерашняя депеша из Алексинаца от ген. Черняева говорит, что сербские войска, заняв покинутые турками позиции, нашли там трупы сербов, привязанные к деревьям и обугленные. Но что же это такое, наконец? Неужели нам придется продолжать быть зрителями подобных неслыханных фактов и выражать только одно сожаление о несчастных жертвах? Ведь обстоятельства теперь значительно изменились. В рядах сербской армии находятся теперь сотни, а в скором времени, быть может, будут и тысячи русских бойцов. Неужели же мы будем смотреть, сложа руки, как, страшно подумать, наших родных братьев, мужей наших жен, сыновей наших матерей будут вешать, распинать и жечь на медленном огне? Шансы войны изменчивы, поле сражения может остаться за неприятелем, а вместе с тем раненые и пленные турки напрягают все силы, чтобы подавить Сербию. Абдул-Керим 14-го числа вновь телеграфировал о медленной присылке подкреплений. Турецкое правительство стягивает все оставшиеся войска из Малой Азии, Сербии и Аравии и направляет их на театр действий, между тем как у сербов все население, способное носить оружие, призвано уже в ряды армии. Переговоры о перемирии тянутся и, может быть, протянутся еще долго, так как для турок это выгодно: армия их отдыхает тем временем от полученных поражений, получит подкрепление, устроится и двинется вперед. Выдержат ли тогда сербы новый напор — еще неизвестно. Что же делать? Мы говорим, что не можем принять непосредственное участие в войне, потому что против нас вооружится тогда вся Европа. Быть может, это справедливо, если бы начали так, как в 1853-м году, с занятия Румынии, так как у Австрии тогда явились бы опасения за свои провинции. Но у нас есть азиатская граница, отдаленная от Австрии на тысячи верст. Движение наших войск к Карсу и Эрзеруму не может иметь такого влияния на Европу, как поход в Румынию, и можно наверное поручиться, что ни Австрия, ни Германия не объявят нам за это войны. Под Александрополем стоят сейчас две дивизии — если двинуть их вперед, то восточный вопрос будет решен. Европа нам будет благодарна за то, что мы окончим то напряженное и томительное положение, в котором дела находятся уже больше года».

«Русский мир», 17-го августа 1876 г.

«Одно из важнейших несовершенств русской жизни заключается в отсутствии надлежащих, прочно организованных способов внешнего проявления внутренних сил, стремлений и чувств русского народа. Недостаток этот с особенной резкостью дает себя чувствовать в настоящее время, когда общественное настроение России могло бы, при известных условиях, оказать решающее влияние на судьбу родственных нам южнославянских племен.

Несмотря на всю разрозненность и несистематичность сочувственных районов действий русского общества, несмотря на крайнюю ограниченность и мир-

ность тех форм, в которых выражаются эти действия, — для бойцов Сербии и Черногории сделано уже весьма много русским народом, без всякого участия правительства, сохраняющего нейтралитет в силу существующих международных отношений. Русский народ дал и продолжает давать славянам средства для ведения войны: он дал им опытных вождей и усилил их ряды лучшими из сынов; он, наконец, спас от голодной смерти тысячи бедствующих семейств, лишившихся крова и пристанища среди разоренной башибузуками¹²⁴ родины. Все это сделано частными усилиями общества, не привыкшего к совокупной политической деятельности. Все это плоды отдельных порывов, не возведенных в систему и не соединившихся еще в одно могучее, внушительное целое.

Если действуя, так сказать, вразброд, поодиночке, мы все-таки достигли таких результатов, которые успели уже заметно напугать европейских друзей Турции, то что же бы было, если бы наши политические чувства могли бы проявляться в более организованной форме? Какою неодолимою силой явилась бы тогда перед лицом Европы единодушная сила великого восьмидесятимиллионного народа... Заграничная печать не смела бы тогда отделять официальную Россию от неофициальной, не смела бы отрицать существование у нас самостоятельного народного мнения, не смела бы толковать о подстрекательствах, не смела бы толковать, наконец, и приписывать все это возбуждение “интригам” славянофильской партии или каким-то честолюбивым невозможным замыслам. Голос целого народа, голос русской земли, подействовал бы на подозрительную Европу совсем иначе, чем едва доходящий до нее хор русской печати вместе с незаметными издали фактическими проявлениями русских народных сочувствий.

Московский славянский комитет уже обратил внимание на тот общественный недостаток, о котором мы говорим; но устранить эту общественную слабость нашу можно только мерами, более обширными, чем какие указаны названным Комитетом. Естественное право почина в предложении этих мер принадлежит Москве — этой исконной представительнице настоящей Руси, скрывающей свою мощную народную жизнь под оболочкой внешнего спокойствия».

За эту последнюю статью газета «Русский мир» запрещена на 3 месяца. Но это не поможет. С каждым днем негодование против зверств, чиненных турками, увеличивается, и все классы народа, помимо газетных статей, воодушевляются воинственным духом, ропщут на вялость, слабость и бессилие правительства. Уже начались попытки уличных манифестаций, как это видно из следующей телеграммы:

«Телеграммой из Москвы нам извещают, что вчера, 28-го августа, вечером, выехал по железной дороге Смоленской в Сербию отряд добровольцев с походной церковью и хором певчих, предназначенных для армии генерала Черняева. На вокзале железной дороги собралась масса народу. При прощании с добровольцами публика пела “Спаси, Господи, люди Твоя” и кричала “ура”, и энтузиазм был невообразимый. После проводов толпа прошла с криками «ура» по Тверской, спела “Спаси, Господи, люди Твоя” у дома генерал-губернатора и мимо часовни Иверской Божьей Матери дошла до монумента Минину и Пожарскому, после чего спокойно разошлась».

Виктор Гюго, который вообще с некоторых пор говорит и пишет много глупостей и бессмысленных и напыщенных фраз, сказал на днях довольно верно:

«Il devient necessaire d'appeler l'attention des gouvernements Europeens sur un fait tellement petit, à ce qu'il parait, que les gouvernements semblent ne point l'apercevoir. Le fait – le voici: on assassine un peuple. Oú? En Europe! Ce fait a-t-il des temoins? Un temoin – le monde entier! Les gouvernements le voient-il? Non! Les nations ont au dessus d'elles quelque chose qui est lui dessous d'elles – Les gouvernements. A de certains moments ce contre-sens eclate, la civilisation est dans les les peuples, la barbarie – dans les gouvernements. Cette barbarie est-elle voulue? Non! Elle est simplement professionnelle. Ce que le genre humain sait, les gouvernement l'ignorent. Cela tient à ce que les gouvernements ne voient qu'à travers, cette myopie – La Raison d'Etat. Le genre humain regarde avec un autre oeil – La Conscience!»*.

Очень любопытно припомнить и перечитать все, что говорили наши передовые поэты и писатели по славянскому вопросу. Хомяков, Киреевский, Аксаков, Тютчев и Самарин были носителями славянской идеи в ту пору, когда не только правительство, но и общество относилось к этой идее со злобной насмешкой. Не раз замечал я, что в ходе мировых идей есть какой-то низменный закон, в силу которого передовые носители идей сходят с лица земли перед тем временем, когда идее этой суждено воплощаться и переходить в общественное сознание. Великие события предчувствуются и предсказываются и ныне своего рода пророками и предтечами, и ныне, как и прежде, глас их — есть глас вопиющего в пустыне. Но наступает время, и воочию совершаются события. То общественное настроение, которое в настоящее время соединяет всех русских людей в одном чувстве, в высшей степени замечательно, и хотя до сих пор оно, так сказать, внешнее, вызванное озлоблением против жестокости турок и патриотическим негодованием против врагов России, но скоро общество уразумеет и весь внутренний смысл предстоящей общей борьбы славянского мира с германским, а в частности, увидит всю глубину нашей национальной несостоятельности. Уже теперь почти все газеты и журналы наполнены статьями, под которыми могли бы подписаться Хомяков, Самарин и другие представители направления, неправильно называемого «славянофильским». До сих пор дипломатия не сделала еще ни одного решительного шага для разрешения восточного вопроса. Последние предложения Англии, на которые мы согласились, в сущности, возвращают вопрос к прежним предложениям Австрии. Но ежели Турция их и примет, то они все-таки будут не исполнены, и вопрос нимало не продвинется вперед.

* Становится необходимым привлечение внимания европейских правительств к факту, который на первый взгляд представляется столь ничтожным, что правительства, кажется, отнюдь его не замечают. Факт этот заключается в том, что убивают народ. И где? В Европе! Нуждается ли этот факт в свидетелях? Свидетель тому — весь мир! Видят ли это правительства? Нет! Народы находятся выше правительств. Цивилизация сосредоточена в народах, варварство — в правительствах. Этого варварства они хотели? Нет! Они просто профессионалы. То, что простые люди видят, правительства не ведают. Эта близорукость именуется соображениями государственного порядка. У простых людей другой взгляд — совесть.

20-го октября. Еще месяц прошел в бесплодной переписке дипломатов и бесцельной гибели сербов и наших добровольцев¹²⁵. Положение сербов отчаянное. Все крепости теперь заняты турками, которым открыт теперь свободный путь в Белград. Сопротивление невозможно. Наконец, третьего дня, во время заседания Совета министров, министром иностранных дел была получена следующая депеша из Ливадии:

«Его Величество Государь император, сегодня 18-го (30-го) октября, изволил послать генералу Игнатьеву повеление объявить Порте, что, если в течение 3-х дней она не примет шестинедельного или двухмесячного перемирия и не даст немедленно приказание остановить неприязненные действия, генерал Игнатьев выедет из Константинополя со всем русским посольством и прекратит всякие дипломатические отношения с Портой».

Сегодня, следовательно, должен решиться вопрос о мире или войне. Ввиду несомненных успехов турок на поле битвы и двусмысленном положении других европейских держав, кажется, мало надежды на то, чтобы турки согласились теперь прекратить военные действия. Поэтому надо ожидать разрыва. Государь, весьма вероятно, немедленно вернется в Петербург, ибо оставаться в Ливадии под выстрелами первого турецкого корабля — невозможно. Ежели до сих пор чувство приличия и сознание долга своего быть в такую важную для России минуту в центре правительственной администрации не побудило государя вернуться в Петербург, то теперь, из чувства самосохранения, он должен будет вернуться.

Первое впечатлительное слово, сказанное нашей дипломатией, произвело хорошее впечатление, не потому только, что большинство, может быть, необдуманно, желает войны, а потому, что это слово является как бы признаком жизни в организме, мертвящее ослабление которого начинает приводить всех в отчаяние. Еще никогда общественное дело и государственный интерес не были так возведены в степень личных интересов, как бы касающихся только Ливадии и ее обитателей.

Третьего дня в Государственном совете рассматривались два весьма важных законоположения: о воинской повинности и об ополчении. Проект о воинской повинности должен был вызвать много существенных замечаний, ибо он без нужды очень стеснителен и трудно исполним. Но при самом начале рассуждений великий князь Константин Николаевич, в качестве председателя, объявил, что проект этот уже приводится в исполнение и его останавливать нельзя. Причем он неоднократно заявлял, что нужно только, чтобы он прошел через формальность Государственного совета. Это слово *формальность*, несколько раз повторенное, действительно выражает довольно верно весь характер деятельности высших государственных учреждений. Все обратилось в формальность, и это вовсе не оттого, чтобы государь сам был бы очень властолюбив, но просто оттого, что как-то исчез во всех интерес к общему делу, к сущности его, к общему благу. В этом отношении изумительно, какими быстрыми шагами мы пошли назад против еще недавно прошедшего духа всех суждений, и споров, и мнений. Государственный совет был совсем иной во время Сперан-

ского, Мордвинова¹²⁶ и проч. ... Ежели эти лица теперь были бы живы, то голоса их были бы подавлены общим равнодушием, да и сами они бы почувствовали неловкость положения разыгрывать из себя Дон-Кихотов. В прежнее время, я не сомневаюсь, что при подобных обстоятельствах, как теперь, Государственный совет нашел бы приличную форму выразить государю желание видеть его здесь. Наконец, невозможно было бы принятие тех губительных для наших финансов и торговли мер, которыми гг. Рейтерн и Грейг с Ламанским разорительно действовали все это лето, не опасаясь никого. Нашлись бы люди, которые особыми записками или мнениями протестовали бы против этих мер. А теперь, ежели бы и нашелся такой смельчак, который бы на это решился, то ему бы просто, без разговоров, объявили бы выговор. Признали бы, что протест этот есть личность, и запретили бы сообщать кому-либо этот протест. Как бы то ни было, но ни в какую эпоху не было такой распущенной вялости во всем, как теперь. Никогда интерес государственный не был так подавлен равнодушием и бездарностью. Это летаргическое состояние хуже войны и опаснее, потому что растлевает сам организм государственный и деморализует даже крепких и способных людей. Война может быть целебным средством против этого зла.

21-го октября. Сегодня получено известие, что турки согласились на наше требование и что перемирие будет заключено на два месяца. Итак, война отсрочивается. В Сербии она, вероятно, уже и не возобновится, потому что едва ли сербы будут в состоянии поднять вновь оружие. Следовательно, теперь начнутся переговоры о гарантиях. Из этих переговоров может возникнуть война, но уже для нас она будет иметь другой характер, не столь жгучий. До сих пор общественное чувство требовало нашего вмешательства для защиты наших братьев, которых душили. Теперь, когда речь пойдет о том, как устроить, чтобы их впредь не душили, то вооруженное наше вмешательство будет уже не так неотложно, и я начинаю думать, что войны не будет. Время радикального разрешения восточного вопроса еще не пришло. Теперь, как и прежде, дипломаты найдут какой-нибудь компромисс, на котором временно покончат дело. А затем, через несколько лет, опять вопрос поднимется, а к этому времени в России, может быть, будет русское правительство, а тогда разговор будет другой.

1-го ноября. Слова, произнесенные государем императором при приеме московского дворянства и городского общества в Москве 29-го октября 1876 года:

«Благодарю вас, господа, за чувства, которые вы желали мне выразить по случаю настоящих политических обстоятельств. Они теперь более разъяснились, и потому Я готов принять Ваш адрес с удовольствием. Вам уже известно, что Турция покорилась Моим требованиям о немедленном заключении перемирия, чтобы положить конец бесполезной резне в Сербии и Черногории. Черногорцы показали себя в этой неравной борьбе, как всегда, истинными героями. К сожалению, нельзя того же сказать о сербах, несмотря на присутствие в их рядах наших добровольцев, из коих многие поплатились кровью за святое дело.

Я знаю, что вся Россия, вместе со Мной, принимает живейшее участие в страданиях наших братьев по вере и по происхождению, но для Меня истинные

интересы России дороже всего, и Я желал бы до крайности щадить дорогую русскую кровь.

Вот почему Я старался и продолжаю стараться добиться мирным путем действительного улучшения быта христиан, населяющих Балканский полуостров.

На днях должны начаться в Константинополе совещания между представителями шести великих держав для определения мирных условий.

Желаю весьма, чтобы мы могли прийти к общему соглашению. Ежели же оно не состоится, и Я увижу, что мы не добьемся таких гарантий, которые бы обеспечивали исполнение того, что мы вправе требовать от Порты, то Я имею твердое намерение действовать самостоятельно и уверен, что в таком случае вся Россия отзовется на Мой призыв, когда я сочту это нужным и честь России того потребует. Я уверен также, что Москва, как всегда, подаст всем пример. Да поможет нам Бог исполнить наше святое призвание».

В этих словах упрек, обращенный к сербам, при первом чтении, поразил меня своей неожиданностью и неуместностью. Но, говорят, в Москве, под впечатлением общего настроения и одушевления, даже этот упрек не ослабил общего восторга.

Итак, невидимая сила влечет нас, против нашей воли, бессознательно в неведомую даль. О чем будут конференции, на чем будем мы на них настаивать — все это еще неизвестно. Место, избранное для конференции, свидетельствует, что мы согласны на принцип неприкосновенности Турции, а при этом условия какие могут быть найдены и предложены гарантии для обеспечения христиан — решительно не понимаю. Все вопросы, которые остались нерешенными в 1856-м году и о которых, при заключении тогда мира, я недоумевал и о чем тогда же и отметил в своем дневнике, — все эти вопросы теперь вновь поднимаются. Теперь, конечно, пойдут адреса со всей России. Слова государя тем, в особенности, и хороши и пришлись кстати, что общество устало от долгого ожидания и как бы томительного искания правительства в это тревожное для всех время. Вся Россия уже более двух месяцев волнуется, жертвует, посылает добровольцев. Одни сочувствуют движению, другие его ненавидят, все толкуют, копошатся и орут, кто во что горазд, а правительство молчит, и где оно — никто не знает. Наконец правительство, в лице государя, откликнулось, и все успокоились, или, лучше сказать, не успокоились, а всем как-то сделалось лучше, что отыскалась власть. Что эта власть будет делать и как поведет дело — это еще неясно, но возбужденное состояние общества уже успокоилось тем, что обнаружилась жизнь в законной власти.

Несколько корпусов мобилируются. Великий князь Николай Николаевич назначен главнокомандующим: на этого великого князя, не знаю почему, я возлагаю великие надежды. Он, говорят, хороший кавалерийский генерал, и его солдаты любят. Ума он большого не имеет, но прост, без претензий, и хотя слаб по женской части и этим много себе повредил, но смотрит молодцом. О стратегических его способностях, разумеется, судить нельзя, но ежели Богу угодно будет благословить наше дело, то он даст способности и не имеющему оных, и ежели сам великий князь не заслужил милостей от Бога, то зато жена его — великая княгиня Александра Петровна — уже, несомненно, на хорошем счету

у него... Эта женщина — необыкновенное явление. Здесь над нею в высшем обществе и при дворе смеются, и она подает к этому повод, ибо относится ко всем светским и придворным приличиям с открытым презрением. Она является среди двора какою-то юродивою или блаженною. И она действительно такова, и это в ней неподдельно. При этом она не просто юродивая, а русская юродивая, со всеми инстинктами, вкусами и симпатиями самой простой русской женщины. Но сколько она делает добра и как она это делает — про то знают только ею облагодетельствованные. Все это представляется мне столь необыкновенным, что я готов думать, что в этом чудачном юродстве есть что-то предзнаменательное.

28-го декабря. Ожидая с каждым днем известий о каком-нибудь решительном шаге, я более месяца не заносил на страницы своего дневника ничего замечательного из обыденной жизни. А между тем вот уже мы приблизились к началу нового года, и политический горизонт так же смутен и неясен, как 2 месяца тому назад. В Константинополе разыгрывается какая-то комедия, в которой сменяются сцены, а развязка продолжает быть загадочною. До очевидности сделалось ясным только одно, что мы во всей этой комедии играем самую печальную и, вероятно, трагическую роль. Все соглашения держав обрываются на упорном отказе турок. Это упорство объясняется полным убеждением турок, что в конце концов все наши союзники от нас отступят.

Но прежде доведут нас до таких уступок, при которых не будет смысла вести войну, и мы со страхом откажемся от всего. Роль скрытых врагов наших — Германии и Австрии — начинает все более и более обрисовываться. Они заманили нас своими сладкими речами и уверениями в дружбе и неизменном союзе, но как только дело доходит до какого-либо практического вывода из их платонических желаний, то они отказываются помогать нам. Объявленная в Турции либеральная конституция вносит комический элемент во всю эту дипломатическую комедию. Слова государя, что он решился действовать с а м о с т о я т е л ь н о , мешают теперь только нашему быстрому отступлению. Все стремление нашей дипломатии заключается теперь только в том, чтобы вырвать у турок какую-нибудь уступку или даже фиктивную гарантию для того, чтобы дать нам благовидный предлог отказаться от дальнейших воинственных замыслов, но и этого турки дать не хотят. И друзья — союзники наши, которых мы не раз спасали от гибели, нам в этом не только не помогают, но, видимо, турки под их влиянием упорствуют. Неужели и теперь еще государь может продолжать верить в союз трех императоров¹²⁷ и на этом союзе основывать свою политику? Завтра ожидают здесь решительных известий о том, принимают ли турки вновь измененные предложения держав, и ежели не примут, то, вероятно, наш посол выедет из Константинополя. Послы других держав тоже обещали выехать, но теперь, говорят, изменили свое намерение.

С выездом Игнатьева из Константинополя, вероятно, война еще не начнется, ибо, говорят, теперь невозможно начинать зимнюю кампанию. Что за сим будет происходить — одному Богу известно. Наше положение еще усложнилось тем, что великий князь Николай Николаевич, главнокомандующий, очень серьез-

но заболел и едва ли будет в состоянии продолжать командовать армией. Здесь в высших сферах и при дворе господствует теперь такое мирное настроение и страх войны так велик, что неудивительно будет, ежели решатся покрыть себя срамом перед Европою и перед Россией. Этого можно было ожидать, ибо то же отсутствие мысли, плана, цели, какие были вначале, существуют и теперь, и, быть может, в еще большей степени. Ежели проследить и припомнить все, что делалось у нас в июне нынешнего года и по сие время, то решительно невозможно доискаться никакого смысла; возможно ли надеяться при таком колебании, при таком отсутствии какого-либо убеждения, при таком уродливом союзе с национальностями, нам враждебными, — возможно ли надеяться с успехом поднять славянский вопрос? Нет, повторяю, только тогда Россия в этом вопросе не будет играть глупую и смешную роль, когда в ней будет русское правительство, которое сознательно будет относиться к тому, что есть в славянском вопросе русского.

В числе главнейших современных затруднений наших финансовый вопрос стоит на первом плане. Совершенно независимо от общих причин, по которым финансы наши, при всем, впрочем, заметном и замечательном улучшении их в последнее время, не пришли еще в такое положение, при котором возможны без существенного разорительного кризиса экстраординарные громадные военные издержки. Наше настоящее финансовое положение и совершенный застой в торговле и промышленности вызваны еще отчасти и искусственными мерами, принятыми Министерством финансов в течение нынешнего лета. С непонятным ослеплением министр финансов упорно и непроизводительно израсходовал в течение летних месяцев более 80-ти миллионов металлического фонда для поддержки вексельного курса. И вся эта операция производилась в то время, когда уже ясно было для каждого мало-мальски понимающего всю важность поднимающегося в европейской Турции вопроса, что ежели нам не предстоит неминуемо и скоро быть готовыми к войне, то по крайней мере дела политические усложнятся и примут острый характер. В это время ослаблять металлический фонд для фиктивной поддержки курса и производить страшную пертурбацию на денежном рынке, уже и без того весьма расстроенном вследствие банкротства Московского учетного купеческого банка¹²⁸, — значит как бы нарочно отнимать у себя средства не только воевать, но даже готовиться к войне. Министр финансов действовал, без сомнения, под впечатлением уверений канцлера и государя, что войны не будет, хотя уверение это его не оправдывает, потому что очевидность приближающейся грозы должна была поселить в нем сомнения в прочности положения. Надо и то сказать, что все это дело, начиная с дипломатических разговоров и кончая всеми финансовыми мерами, велось тайно, никто, кроме канцлера и министра финансов, ничего не знал. О Государственном совете уже и говорить нечего, но даже в Комитете министров не возбуждался ни один из этих вопросов — ни общей политики, ни финансовых мер.

Только уже в октябре месяце остановлена была операция поддержки курса. Собран был Финансовый комитет, который решил внутренний 5%-й заем в 100 миллионов, на который подписались только 60 миллионов, и, кроме того, решено принимать платеж потом только золотом. Эту меру я предлагал 10 лет тому назад, при издании нового тарифа, и тогда она была бы своевременна.

1876 год

Вдруг на днях я получаю от министра финансов совершенно неожиданно следующее письмо:

«Милостивый государь,
князь Дмитрий Александрович.

При настоящем положении политических дел и трудов Константинопольской конференции не представляется еще возможным определить: приведут ли дипломатические переговоры к мирному исходу, причем мобилизация части нашей армии будет иметь характер лишь демонстрации или России придется взяться за оружие.

В последнем случае правительству, очевидно, предлежит трудная задача изыскать для войны средства, и весьма значительные, и поступление которых было бы обеспечено в скором времени.

Опытность Ваша в делах финансового управления, заведование кредитным учреждением и близкое знакомство с промышленными и экономическими средствами России побуждает меня обратиться к Вам за советом по этому делу.

Согласно сему, имею честь просить Вас сообщить мне мнение Ваше о том, каким наилучшим и скорейшим способом можно было бы, по Вашему мнению, приискать средства для ведения войны в случае, если в скором времени Россия вынуждена будет принять в ней участие.

В надежде, что Вы не откажете выразить мне Ваше по этому вопросу мнение с полной откровенностью, покорнейше прошу ответ Ваш на это письмо адресовать мне в собственные руки.

Примите уверение в совершенном моем к Вам почтении и преданности.

Рейтерн».

На это письмо я отвечал следующее:

«На почтеннейшее приглашение Вашего превосходительства о сообщении Вам мнения моего о том, каким наилучшим способом можно было бы приискать средства на ведение войны, я, при полном сознании неготовности своей отвечать на столь трудный и важный вопрос, не смею уклоняться от изложения пред Вами того мнения, которое сложилось во мне вследствие частных и личных сношений и разговоров с людьми, специально занимающимися денежными оборотами и близко знакомыми с положением нашего денежного рынка.

В том виде, как поставлен Вашим высокопревосходительством самый вопрос, нет места для выражения каких-либо соображений об общих мероприятиях с целью улучшения наших финансов или с целью изменения системы налогов, или открытия новых источников доходов в более или менее отдаленном будущем.

Поэтому я ограничусь только изложением мнения моего о том, каким наилучшим и скорейшим способом в настоящее время достать денег для насущной потребности войны.

Едва ли можно сомневаться в том, что выпуск бумажных денег есть в настоящее время единственное средство для достижения указанной цели. Вопрос может состоять только в том, какую форму дать этому выпуску и какие своевременно, и даже одновременно, могут быть приняты меры для ослабления вредных последствий от сей операции.

Не имея в руках своих точных данных ни для определения количества уничтоженных кредитных билетов при последней операции продажи Государственным

банком золота, ни о количестве вновь выпущенных билетов для военных и других потребностей, я не могу сказать, в каком размере и в какой форме может быть совершен в настоящую минуту выкуп новых кредитных знаков¹²⁹. Нужен ли для этого особый указ, или будет ли это производиться простым подкреплением новыми билетами расходных касс. Но, судя по ощущаемому еще до сих пор сильному недостатку в деньгах внутри края, можно предполагать, что даже прямой, самый гласный выпуск бумажных денег до 100 милл. рублей не произведет еще значительного изменения в курсе этих бумаг на внутреннем рынке, а с объявлением войны заграничный курс наш и без того значительно понизится, и вообще с открытием военных действий можно будет оставить всякую заботу о заграничном курсе, так как внешняя торговля наша по необходимости сократится в весьма значительной степени, а правительственные платежи за границу во всяком случае потребуют искусственных и убыточных мер, о которых говорено будет ниже.

Но порядок выпуска бумажных денег в той или иной форме необходимо обставить мерами для консолидации хотя бы части сего выпуска. Кроме того, нужно обратить внимание на то, что со времени упадка за границей цен на наши внешние металлические займы наши здешние капиталисты стали покупать из оных преимущественно консолидированные облигации и билеты 5%-го 1-го займа 1862 года, и на значительные суммы, для чего они выписываются из-за границы и преимущественно из Лондона. Таким образом, происходит <отток> из России движимых или оборотных капиталов, который не только действует неблагоприятно на промышленность страны, но и затрудняет правительство в изыскании ресурсов для чрезвычайных надобностей. Этому отливу капиталов, с одной стороны, и чрезмерному увеличению разноименных знаков, с другой, можно препятствовать у нас здесь выпуском консолидированных облигаций, к выпуску которых за границей было бы уже, вероятно, приступлено, ежели бы не помешали политические обязательства. Подобный выпуск облигаций должен представлять выгоду в цене по крайней мере на 3%. Если при курсе на их консолидированные облигации в Лондоне в 79% и при вексельном курсе 29% они обходятся и покупаются здесь по 102% (считая 640 р. в 100 фунтов номинально), то новый выпуск должен бы быть сделан на 100% в кредитных с разверсткою при типе взносов, представляющее сбавку в 1%.

Но так как можно предвидеть дальнейшее понижение наших фондов за границей, то для восстановления соотношения 102 — 79 придется действовать на соразмерное понижение вексельного курса.

Цена в Лондоне	Вексельный курс	Цена здесь
79%	29%	102%
74%	27,16%	102%

и т. д.

Для этого правительство должно покупать римессы¹³⁰ в значительном количестве. Впрочем, я уверен, что и во время войны русские государственные фонды не настолько утратят к себе доверие, чтобы следовать за безграничным понижением курса, в особенности после того, как металлические наши бумаги получили как бы специальную гарантию приемам их исключительно в платеж таможенных пошлин.

Вот те мысли, которые мне показались достойными внимания Вашего высокопревосходительства и которые при разговорах моих с людьми знающими не встречали резких возражений; быть может, они не осуществлены потому, что правительство связано с Ротшильдом в свободе выпуска консолидированных облигаций. Быть может, что отсутствие <имени> барона Ротшильда на консо-

лидированных облигациях нового выпуска повредит впоследствии достоинству их за границей. Все это мне неизвестно, но думаю, что большого вреда от того, что один выпуск облигаций навсегда останется в России, не будет, и ежели этому выпуску будут еще представлены какие-либо особые льготы при залогах в банках, то невыгода от отсутствия барона Ротшильда легко вознаградится для владельцев этих облигаций.

Дай Бог, чтобы сама потребность в чрезвычайных мероприятиях миновала и чтобы опять наступило время, благоприятное для более прочных мер к устройству наших финансов посредством развития производительных сил и правильного устройства системы налогов, согласно предначертаниям Вашего высокопревосходительства».

Последнюю фразу я поместил в письме своем в виде любезности, хотя уверен, что ежели войны не будет и обстоятельства несколько улучшатся, то Рейтерн¹³¹ не останется министром финансов. Он непременно будет просить увольнения. Он устал, слаб здоровьем, в последнее время действительно действовал неблагоприятно, но главное — он утратил доверие государя. Доказательством этого может служить, между прочим, и письмо его ко мне с просьбой о совете. Я узнал, что письма подобного содержания были написаны им и еще несколькими другими лицами, и это было вызвано государем, который пожелал узнать мнение других лиц о средствах для ведения войны... Не знаю, что ответили другие советчики, но все это как-то несерьезно и бестолково.

Это отсутствие серьезности, разумной последовательности, ясно сознанной цели, твердой воли хотя бы в ком-либо из главных деятелей все более убеждает меня, что нам воевать теперь нельзя. Многие думают, что, когда решатся на войну, все воодушевится и будет какой-нибудь толк.

У меня этой надежды нет, быть может, я слишком близко вижу вещи и ничтожность отдельных личностей не в меру мною преувеличивается. Но не думаю, чтобы я ошибался. Мое сомнение основывается на полном отсутствии тех сил, без которых восточный вопрос в наших руках просто не может быть решен. Я знаю, что денег у нас нет. Знаю, что генералы все плохи. Знаю, что войско в новой своей организации еще не испытано, но все это меня нисколько не смущает. Все это может при невыгодных условиях только увеличить наши случайные преходящие бедствия или неудачи. Но не в этом дело. Ведь главный вопрос — что мы такое... Во имя чего или в силу какого законного или кровного убеждения или чувства выступаем мы в бой. Все, что слышу и вижу кругом себя, с каждым днем все более и более убеждает меня в том, что целая бездна отделяет наш правительственный, политический и весь почти культурный петербургский мир от того мировоззрения, при котором восточный вопрос — не в тесном смысле славянском, в общем — имеет для православных русских значение. И не только целая бездна отделяет эти два воззрения, но, главное, наше правительство и петербургское культурное общество относится и по инстинкту, и по убеждениям прямо враждебно к этому воззрению. Вследствие сего и весьма умные люди приходят в совершенный тупик при вопросе, для чего нам воевать... Какая может быть цель войны, какое нам дело до подлых славян... Из чего мы должны разоряться и проливать кровь без малейшей надежды на ка-

Третий том

кое-либо приобретение... И действительно, что можно отвечать на эти вопросы, когда не чувствуешь их фальши? Какими умными словами и речами можно объяснить то, что в душе каждого русского связывается с чувством истинного и единоговерного родства? Как объяснить, что «не одним хлебом человек жив бывает»? И что без национальной гордости и человек, и общество — жалкие явления... Как объяснить все это? Поневоле отмалчиваешься, и победа остается за б л а г о р а з у м н ы м политиком, гражданином абстрактного государства, неподвижно стоящим на утилитарной почве своих личных интересов... Напрасно указывают на англичан, у которых национальная политика, основанная на материальных интересах, заставляет упорно поддерживать Турцию, и они держатся упорно этой политики, все — как один человек, без уступок и без колебаний, и не верят нам, несмотря на все наши уверения, что политика наша в восточном вопросе бескорыстна. Но есть ли это прямое указание на то, что англичане вполне сознают, что интересы наши несовместны с существованием Турции и что как бы ни откешивались, как бы чистосердечно ни уверяли себя и других, что ничего не хотим для себя, мы не можем и не в нашей власти изменить свойство сложившихся интересов. Можно искренно и чистосердечно желать не стареть и не сесть, можно даже заблуждаться до того, чтобы уверять других в возможности остановить ход естественных событий, но верить подобному заблуждению никто, конечно, не будет.

Вот почему это непрерывное с нашей стороны, клятвенное во всех видах обещание, что мы ничем не воспользуемся в случае падения турецкого владычества в Европе, представляется мне тем глупее, что оно искренно.